

Андрей Седых

Далекие, близкие

Под редакцией Л. М. Суриса



Москва
Берлин
2016

УДК 82
ББК 83.3(2)
С28

Седых, А.

С28 Далекie, близкие / А. Седых ; под ред.
А. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. –
301 с.

ISBN 978-5-4475-8223-4

Внимание читателей предлагается сборник емких, реалистичных очерков русского литератора, деятеля эмиграции Андрея Седых о знакомых и близких друзьях, а также известных деятелях искусства, у которых автор брал интервью. С теплотой и нежностью пишет автор об А. Куприне, М. Волошине, О. Мандельштаме, М. Алданове, С. Рахманинове, К. Бальмонте, Ф. Шаляпине, А. Глазунове, И. Бунине, М. Шагале и др. Известнейшие писатели, композиторы и художники предстают перед читателем как обычные люди – со всеми своими человеческими слабостями и недостатками, странностями, мечтами и думами.

УДК 82
ББК 83.3(2)

А. М. Ремизов

Раннее парижское утро. Звонок у дверей. Кто бы это мог быть, в 7 часов?

Встаю с постели, открываю. Почтальон протягивает «пневматичку». В конверте листок, разрисованный Ремизовым:

«День Св. Африкана, четверг 26 марта. Готовлюсь переплыть Ламанш: съел 5 фунтов мяса и 40 яиц».

Что на это скажешь? Ремизов всю жизнь любил мистифицировать, вечно что-нибудь придумывал. Иногда присылал мне для «Календаря Писателя» материал о несуществующих поэтах и книгоиздательствах: а вдруг напечатают? Иногда печатали. Пришла однажды невинная по виду заметка: «Переехавшая на постоянное жительство в Париж поэтесса Марина Цветаева становится во главе ежемесячного журнала «Шипцы». Журнал будет посвящен, главным образом, печатанью стихов, но в первом номере появится новая повесть Ф. Степуна «Утопленник».

На следующий день – яростное письмо от Марины Цветаевой, – письмо это до сих пор хранится у меня: никакого журнала «Шипцы» она издавать не собирается, Степун повести «Утопленник» не написал, – все это зловредная шутка, игра с ее именем.

Пришлось ехать к Цветаевой с извинениями. Жила она очень далеко, почти за городом. Сидела в сумерки на диване, много курила, смотрела в окно: туман, темные заводские корпуса, фабричные трубы... Она была совсем молода: шапка золотистых, вьющихся волос, зеленые русалочьи глаза и платье, – должно быть подобранное к глазам, тоже зеленое, только тоном темнее. На Ремизова не сердилась, отошла. Говорила о том, что в современную Россию не вернется – никогда. И вернулась: для того, чтобы повеситься на водосточной трубе.

На прощанье сказала:

– Знаете, что я больше всего люблю в Париже? Старух. На нашей улице есть удивительные старухи, в теплых, вязаных пелеринах. Хорошие, древние старухи.

Рукопожатье ее было крепкое, почти мужское. Засмеялась:

– Это меня Макс Волошин научил, так крепко руку пожимать. Я до Макса подавала руку как-то безразлично – механически, сбоку... Он сказал: «Почему Вы руку подаете так, словно подбрасываете мертвого младенца?» Я возмутилась. Он сказал, что нужно прижимать ладонь к ладони, крепко, потому что ладонь – жизнь. Вы знали Макса. Вот Вам привет от него – рукопожатие...

На обратном пути побывал я у Ремизова, – он все же немного беспокоился. Узнав, что гроза прошла, Алексей Михайлович просил, – лицо его от улыбки становилось необыкновенно добрым, – и начал привычным жестом приглаживать на голове два непокорных пучка волос. Были они похожи на рожки чертенка.

Жил он в это время на рю Буало, № 7. Дом и его обитателей тщательно и неутомимо описывал в своих книгах. На дверях квартиры, к великому негодованию консьержки, привесил обезьяний хвостик. К хвостику было привязано одно су с дырочкой. Обезьяну звали «Медведкина».

– Пусть себе висит, счастье приносит, – говорил улыбаясь Ремизов. – И мне удобно: как увижу хвостик, так и знаю, моя квартира, и уж тогда не ошибусь.

Как-то хвостик сорвали, – мальчишки, а может быть и человек, доставлявший молоко. Ремизов погоревал, потом раздобыл новый и снова повесил. И после обстоятельно описывал в газете, какая беда его постигла.

Хвост этот, по существу, был каким-то символом в жизни Ремизова, это была та граница, за которой обрывался реальный мир и начиналось некое театральное

действие, которое так любил Алексей Михайлович, и которое постепенно стало его второй натурой. Возьму для иллюстрации случай, который описывает в своей книге о Ремизове Наталья Кодрянская⁵. Ремизову нужно было пойти в полицейскую префектуру и подать прошение о возобновлении «карт д-идантитэ», – права на жительство в Париже. «В то время в префектуре приходилось простаивать в очереди часами, иногда и по два дня. Когда Алексей Михайлович собрался пойти, было очень холодно, и он оделся не совсем обычно: поверх пальто закутался в длинную красную женскую шаль, перевязав ее на груди, как это делают бабы, крест на крест; на голову надел еще вывезенную из России странной формы высокую суконную шапку, опушенную мехом. Сгорбленный, маленький, в очках, с лохматыми, торчащими вверх бровями, в невероятно больших калошах, зашагал в префектуру. В руках нес прошение, расписанное им самим и разукрашенное разными заставками и закорючками: без сомнения, самый удивительный документ, когда-либо поданный в парижскую префектуру.

При виде такого необычайного посетителя ряды разомкнулись и Ремизов без задержки прошел в здание. Чиновники, конечно, тоже сразу обратили внимание на него и на его прошение, один подозвал его вне очереди. Алексей Михайлович потом, посмеиваясь, рассказывал: «Чиновник оказался большим любителем “каллиграфии” и пришел в восторг от моего прошения». Оно обошло всю префектуру, и Алексей Михайлович тут же, без проволочки, получил свое удостоверение, что обычно так легко не делалось»

⁵ Наталья Кодрянская «Алексей Ремизов», Париж.

Жили мы в Париже по соседству. Он на Рю Буало, а я сейчас же за церковью Микель Анж, – по ремизовски Михаила Архангела. Минута-две ходьбы. В квартире Ремизова с незапамятных времен помещалась Обезьянья Великая и Вольная Палата – в сокращении Обезволпал, пожизненным президентом и великим мастером которой состоял Алексей Михайлович... Есть у меня великолепный диплом в две краски, написанный знаменитой ремизовской вязью с закорючками и выкрутасами: жалуется сия обезьянья грамота, весенний именинный ярлык Андрею Седых в знак введения его в кавалеры обезьяньего знака 1-ой степени с каштановым цветком. И на грамоте расписался собственноручно царь обезьяний Асыка, а скрепил канцелярист Обезволпала Алексей Ремизов.

Это был единственный орден, полученный мной в жизни.

Иногда я приходил к Ремизову поглядеть, как он живет, поговорить о книгах. Президент Великой и Вольной Палаты неизменно сидел за столом в вязаной бабьей кацавейке, поверх которой он надевал еще разные «шкурки». На голове – вышитая золотом татарская тибетейка, на ногах – плед, – ему всегда было очень холодно. Смотрел внимательно через толстые стекла очков, приглаживая на голове рожки, пучечки черных волос.

Жил он и работал в «кукушкиной» комнате, названной так потому, что на стене висели часы с кукушкой, а чай мы ходили пить на кухню. Здесь восседала грузная, приветливая жена писателя, Серафима Павловна. Лицо у нее было какое-то кукольное. Собирала несложное угощение, разливала по стаканам крутой кипяток.

Чего только не было в «кукушкиной»! Стены – в книжных полках, а под потолком болтались на веревочках всякие ремизовские талисманы, «гишпенсть» – черти, травы, рыбы кости, летучие мыши. На столе

сидел подземный цверг, по-русски Огневик («добрый он, нос ведь колбаской!»). На подушке Коловертыш, –

лежит днем на кровати, вместо меня,
тепло сохраняет – бородака какая-то!

И еще на нитках – сушеные травы, весна прошлогодняя, оберегающие от несчастья кости, змейки, божки – вся Великая и Вольная Палата.

Дни и долгие ночи проводил Ремизов за своим столом. Много читал. Писал и рисовал, низко согнувшись над бумагой, – так в конце концов нажил себе настоящий горб. Время от времени отрывался от бумаг, поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, – был он не без хитрецы и так, до конца, и остался – неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любил выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, – это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусить слоеным пирожком, – хозяин лавки «приветствовал» русскую литературу... Или, завернувшись в самые живописные свои кацавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, – почему не печатают? Печатали его мало. Милюков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за напечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафе к Дюпону. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

– Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, – для коллек-

ции. А читать – нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел!»

Иногда он присылал мне письма на цветной бумаге. На каждое письмо уходил добрый час, – оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие ящюра, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец приклеивал полоску серебряной бумаги для красоты. И подпись была замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разноцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной попросту заклеить его. Нет, тут из старого прејскуранта выискивал он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, щитами и королевскими лилиями. Гербом запечатывал конверт и к нему прибавлял для оживления полоску золоченой елочной бумаги. И только тогда письмо считалось законченным. Ремизов надевал галоши, закутывался в шаль потеплее и отпраплялся в дальний путь, на почту. Почтовым ящикам на углах улиц не доверял: а вдруг забудут и не вынут?

И, выходя из дому, вешал на никогда не запиравшихся дверях бумажку с надписью:

– Выхожу один я на дорогу.

Писал он мне в Париже очень часто. Был чувствителен ко всякому проявлению внимания, за книги благодарил и присылал свои, с необычными автографами, зарисованными во всю страницу:

– Дорогому Андрею Седых. Ваш «Пушка» мне снился. Видеть во сне Пушки – друга.

Или:

– Вам на елку.

И нарисована елка, на ней чертяки, а внизу – семья мышек.

На «Оле» сделал надпись: «Очень меня растрогали вашим письмом о инвалидах: как о себе читал вашу простую повесть».

На книге «Три серпа»: «На зеленую Русальную неделю».

В Америке, в самые последние годы жизни Алексея Михайловича, получил я от него «Огонь вещей». На титульном листе он написал: «Не для чтения, а как память с «Последних Новостей» до сухановской семипятикусковой».

Последнюю книгу прислал он в июне 57 года, и надпись сделал собственноручно, хотя уже совсем к этому времени ослеп. Рука дрожала, выводила на бумаге какие-то непонятные иероглифы. Очень трудно эту надпись разобрать, слова громоздятся одно на другое. Кажется, автограф следует расшифровать так: «Книга – единственное, чем могу выразить мои чувства любви и благодарности».

Повторяю: жизнь не баловала Ремизова и поэтому всякое проявление внимания он ценил. Еще в 40 году, узнав о болезни Серафимы Павловны, я послал ей небольшой подарок. На следующий день пришло от Ремизова письмо:

«Очень меня тронули вашей памятью. Спасибо.

Ваша память пробудила мою старую память и чувство, какое однажды всколыхнуло мою душу.

Выписываю из “Взвихренной Руси”: “на углу 14-ой линии”. Так во мне сказалось и теперь:

“...на углу Большого проспекта и 14-ой линии стоит женщина. Одета она прилично, т. е. все что можно зашить и подштопать, все сделано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, как налитое, без кровинки. Она не просит словами, она чуть кланяется и смотрит – и ей всегда подадут.

В самый тискущий тиск и последний загон – много о ту пору мудровал человек над человеком! – когда, кажется,

ну ничего не подскребсти, все использовано, и завалиющего не может быть, я видел – подают!

А кое-кто еще и остановится, женщины больше: остановятся, поговорят с ней должно быть, в угол, где она на ночь-то ютится, туда в этот ее ледник приносят ей, ну, что можно, что в силах человек сделать, когда у себя нет ничего.

И на лице у нее, как луч, светится.

И когда я это вижу, я уж иду на пяточках – мне все страшно: вот я что-то спугну, помешаю чему-то, как-нибудь своим ходом нарушу, задую – свет”.

Очень вам благодарен. Алексей Ремизов».

* * *

В двадцатых годах Союз Писателей и журналистов устраивал в Париже ежегодный бал в отеле «Лютеция». Встречались на этих балах люди разные, но самым удивительным было однажды появление Ремизова. Я убежден, что на балу он оказался в первый раз в жизни. Сунулся, было, в толпу танцующих, но сейчас же бросился обратно. Потом забился в уголок и все время дрожал – не толкнули бы, избави Бог! Так и простоял весь вечер, удивленно поблескивая огромными американскими очками.

Был он уже тогда маленьким и сгорбленным, говорил тихим голосом, иногда переходящим в шепот, всего людского боялся. И пока мы стояли в углу он рассказал, что не танцует, а очень хотел бы научиться. Трудно только.

– Я, ведь, знаете, даже гимнастику начал делать. Полезная вещь, гири работаю – и ведь ничего, представьте, – выходит! Как-нибудь так и снимусь, со штангой в руке. И потом, могу на трапеции: поднимаюсь на мускулах, а там уже пяткой могу зацепиться и колесом, по обезьяньи, – очень мне это нравится...

Говорил и тихонько улыбался, какой-то детской, счастливой улыбкой. Оба мы знали: этакий вздор!

Да он и к гирям попросту побоится близко подойти, а где-то в подсознании хочет быть сильным гимнастом, вертеться на турнике, делать « колесо»... Чего только в эти годы не придумывал Ремизов! Были у него излюбленные персонажи, о которых он особенно охотно писал: «Яша Шрейбер», или «африканский доктор», – субъект придурковатый, всегда что-то монотонно бубнивший. Самое замечательное это то, что человек этот действительно по образованию был доктор, служил где-то в Африке и там на балу у губернатора, в пьяном виде, сел на пол и сделал непристойность. Из Африки его за это выслали, он оказался в Париже и привязался к Ремизову, служил ему чем-то вроде обезьяньего хвоста, В конце концов привязанность перешла в трогательную дружбу. Когда Алексей Михайлович совсем ослеп, «африканский доктор» стал его поводырем.

* * *

Особенно запомнилась одна наша встреча, весной 1940 года.

Ярким солнечным днем прилетели немецкие самолеты. Сбросили над Парижем бомбы, и больше всего попало в наш квартал Отэй. Это была первая бомбардировка Парижа.

Когда сирены дали отбой и тревога кончилась, все высыпали на улицу. У самой нашей церкви бомба вырыла глубокую воронку, пробил туннель метро и взорвалась уже под землей. Когда произошел взрыв, церковь над головами сидевших в подвале зашаталась, как карточный домик. Женщины громко заплакали и на несколько секунд стало страшно, – вот, сейчас, каменные своды обрушатся и будет конец... По соседству, на Версальском авеню, была срезана половина высокого дома, и под развалинами остались люди. И пока я смотрел, как выносят убитых и раненых, кто-то сказал,

что другой снаряд попал в дом на улице Буало. В этом доме жил Ремизов.

Я знал, что из-за болезни Серафимы Павловны во время участвовавших бомбардировок они никогда не спускаются в убежище и остаются в своей квартире. «Алексей Михайлович улыбаясь утверждал, рассказывает Н. Кодрянская, что ему гораздо приятнее оставаться в квартире, так как вой сирены ему нравится: будто на пароходе. Серафима Павловна только благодарно улыбалась в ответ. Так они не сошли в погреб в тот день, когда Париж подвергся бомбардировке, и оба были ранены осколками оконных стекол».

Алексея Михайловича я нашел в «кукушкиной». Голова его была перевязана какой-то тряпицей. Был он контужен и слегка порезан осколками стекла. В соседней комнате лежала Серафима Павловна, – видел я ее в последний раз в жизни, так как вскоре после этого она умерла... Ремизов рассказывал, как все произошло: вдруг ударит, все посыпалось, – а мы на ощупь – живы! И рассказывал так, словно просил прощения за происшедшее, а в робких его глазах застыл ужас. Таким навсегда я его и запомнил.

* * *

В Америку письма от него приходили редко, да самый тон и внешний вид ремизовских посланий изменился с годами. Все еще титулы и закорючки, но уже не московская скоропись 16 столетия, рисунки исчезли и строки ползли куда-то вбок: Ремизов стал слепнуть.

Письмо 47 года:

«Спасибо и за письмо и за слово – память.

Четыре года будет (13 мая), как после смерти Серафимы Павловны живу в затворе: в оккупацию совсем потерял глаза, а с белой палкой далеко не уйдешь. Это очень затрудняет (осложняет) все мои дела: приходится все просить и даже

о пустяках – по редакциям уж не могу ходить, до Суханова не дойти, улицу ведь надо переходить.

Писать, как видите, пишу с закорючками, но едва разбираю написанное. Мука мне со своими черновиками, другой раз терпенья нет, заново пишу. Да, пора, на Ивана Купалу (4 июня), семьдесят лет, насмотрелся я на Божий мир.

Живу один, грозят выгнать.

У нас ведь “уплотнения”. Да куда мне идти!

С моим советским паспортом я переписываюсь с Россией. И первое, что узнал: смерть нашей дочери.

О издании моих книг пока не может быть и речи: очень мудрено мое, а по иному писать не могу.

Клянюсь вашей жене: Серафима Павловна ее так любила.

Еще раз спасибо за память».

По привычке за подписью нарисовал какой-то мудреный значок и пояснил: «Это моя обезьянья тамга».

Всякий раз, приезжая в Париж после Второй мировой войны, я навещал Ремизова. Он даже не старел, как другие писатели его поколения, а как-то дряхлел, врос в землю, – тот ужас, который я впервые увидел в его глазах в день бомбардировки, навсегда в них остался. Теперь он совсем походил на старого сказочного гнома, как то особенно горбился и уж совсем ничего не видел, только различал неясные контуры. Изредка появлялся «африканский доктор» и выводил его на прогулку. Сердобольные русские дамы (он называл их «утятами») заходили прибрать немного квартиру, накормить и почитать вслух... Грустная была это жизнь, но Ремизов не сдавался и никогда не сидел сложа руки: вел дневник, поддерживал переписку с друзьями, записывал удивительные свои сны.

Весной 52 года я напечатал в «Новом Русском Слове» статью о ремизовском «Обезволпале». Сейчас же А. М. откликнулся:

«Спасибо за память: вспомнили Обезволпал.

Открыта 45 лет тому назад в Москве. Сколько великих прошло через эту виноградную Палату, а я остаюсь несменяемым канцеляристом, теперь заштатный, так под грамотами и подписываюсь.

Обезьяньи грамоты вносили и в самую темь нашей жизни только веселость, и никто никогда не оскалился схватить меня себе на зуб.

Потому и Вы с улыбкой вспомнили меня. И «Повара» – мою «живую жизнь» почувствовали.

Н. Р. С. что вы послали получил, спасибо. Поклон вашей жене – певунье. Жду вас, авось застанете меня в здравом уме и сердцем открытым к слову. Живу по-прежнему на рю Буало среди книг и в словесных затеях. Только что вернулся из путешествия к берегу Ледовитого Океана от камчадалов.

Алексей Ремизов».

Весной 53 года я побывал у него. Все в квартире на рю Буало выглядело теперь более запущенным, серым. Потускнели даже бумажные чертяки и абстрактные конструкции из серебряных бумажек. На стене в передней все еще были развешаны записочки, которыми пользовался Ремизов, выходя из дому. Старинной вязью, разноцветными чернилами, на бумажках было выведено:

– Ушел на полчаса.

– Сижу на пятом этаже.

– Пошел в магазин за молоком.

Но записочками этими он уже почти никогда не пользовался, выходил очень редко, а больше сидел в «кукушкиной» и, несмотря на летнюю жару, был в своих «шкурках», – очень стал зябнуть.

– Окончательно ослеп, первым делом сообщил он мне шепотом. Вижу только последнюю строчку, а прочесть написанное не могу. А все же, – вот смотрите!

Встал, добрался до полки со своими сокровищами: толстыми папками с рукописями, приготовленными

к печати и с альбомами, — он отлично рисовал и любил не только записывать, но и зарисовывать свои сны. А снилось ему не только повседневное, — иногда беседовал во сне с Пушкиным, видел Гоголя, Достоевского, Льва Шестова, а то вдруг — всякая нечисть. Вот один его сон:

«И я увидел: Пушкин.

И совсем-то он на себя не похож, ни на один портрет: курносый. А около на столике кофий.

“Спасите, говорит он и показывает, пять невест”.

И в моих глазах пять красных языков.

“И всех разобрали”, говорит Пушкин и читает: немецкий, французский, английский...

И я понимаю, что теперешний Пушкин профессор языковедения и спасать его не от чего — без языка нет речи»⁶.

— Издал я за долгую свою жизнь 88 книг, а вот еще — сколько! с гордостью говорил Ремизов, осторожно проводя руками слепого по корешкам папок. Это бумажное наваждение объясняю не моей графоманией, а перерывом в 18 лет моего книжного существования. 18 лет не мог найти издателя. Последняя моя книга «Образ Николая Чудотворца» в 1931 году, и только в 1949 — «Пляшущий Демон». За эти 18 лет я сделал 400 рукописных альбомов, в них больше 4.000 картинок. А сколько обезьяньих грамот, подписанных собственноручно обезьяньим царем Асыкой!

Пауза. Приблизился и совсем уже заговорщицким шепотом:

— Вы кавалер Обезьяньего Знака 1-ой степени Обезволпала, Обезьяньей Великой и Вольной Палаты. Вы храните, а много ли осталось, кто еще помнит?! В России была грамота у Анатолия Федоровича Кони,

⁶ Алексей Ремизов «Мартын Задека», Сонник, Париж 1954 г.

у Горького, а здесь у Наталии Владимировны и Исаака Вениаминовича Кодрянских. Новых по слепоте не написать.

Мы еще поговорили и я стал собираться. И Алексей Михайлович на прощанье:

– Жаль, что Вы так кратко. И чаем я вас не мог напоить особенной, московской заварки. Вы сейчас в дальний путь, а я напишу вам в Нью-Йорк.

* * *

Он написал.

«Вы меня очень обрадовали вашей памятью. Я помню вас мальчиком, начинающим, а теперь вы книги имеете, неделю, как получил от вас “Шарманщика”. Первый забеглый Утенок прочтет мне вашу книгу. Мне любопытно послушать мелодию шарманки и какими словами выговаривает (шарманит). Картинку с обложки перенесли в текст, а я не догадался перенести своих ведьм, оборвут. И семгу принесли, дорогое кушанье, но что для меня неожиданно – вы в дороге! Я вам успел только рассказать о моем поводе (ему бы по городам медведей водить) африканском докторе, как 40 километров летел и очутился в Руане, – такая сила автомобильного крыла!»

Тут я вспомнил рассказ его:

– Африканский доктор водит меня под руку. Только условие, – через дорогу он переводить не должен, в пьяном виде под автомобиль попадет, и меня убьет. Было с ним так: африканский доктор готовился к своим именинам и уже накануне начал пить, с самого утра. А замечтавшись на улице попал вдруг на крыло грузовика. Его подняло и пролетел он сорок километров и пришел в себя только в Руане. А оттуда полицейский отправил его по месту жительства – в госпиталь Бусико.

И Ремизов с гордостью повторял:

– Экая силища. Сорок километров пролетел!

Не помню точно, в какой это было приезд, кажется в 49 году, Ремизова привели на один из «четвергов» к Бунинным. Узнавал он людей по звуку голоса, но Бунин даже в слепоту Ремизова не верил и как-то особенно насмешливо и бодро в этот вечер говорил:

– Это он притворяется. Старики это любят – немного прибедниться.

И, обращаясь к Ремизову:

– Дедушка, а дедушка! Прочтите нам «Сказку о рыбаке и рыбке»!

Ремизов встал, поднял кверху клочки своих густых бровей и начал объяснять, что голос у него слабый и глухой, а комната – как пробка, и читать ему трудно.

– Не притворяйся, дедушка, читай! закричал Бунин.

И певуче, нараспев, с особыми ударениями, Алексей Михайлович начал читать пушкинскую сказку. Замечательная у него была манера чтения: каждое слово сверкало и была в голосе какая-то внутренняя, едва заметная ирония. Между прочим, Ф. Степун правильно говорил, что Ремизова самого нужно читать только вслух, очень медленно. При обычном торопливом чтении вся прелесть ремизовской прозы, узорный подбор его слов, особая конструкция фразы, – все это теряется для читателя.

* * *

Ремизову предлагали вернуться в Россию. Отказался: куда же ехать, когда свою собственную улицу в Отэй страшно перейти, а вдруг – автомобиль?

Вскоре после окончания войны, когда в советском посольстве на рю де Гренелль появились, – не на долго, – многие видные эмигранты, Богомолов пригласил к себе и Ремизова.

Ремизов пришел. Была зима и он надел теплую куртку, сверху еще что-то и вырядился в белые башма-

ки, – не то по бедности, не то белые башмаки должны были сыграть роль елочной, серебряной бумаги, которой украшал свою жизнь Алексей Михайлович.

Вышли Богомоллов и Молотов. Полпред поздоровался и, не зная, как начать разговор, спросил:

– Ну, как поживаете, Алексей Михайлович?

И Ремизов, подняв кверху свои круглые очки, певуче ответил:

– Благодарю. Хорошо. Только вот что-то мышки мои стали пошалить. Беспокоят меня.

Богомоллов немного испугался.

– Как, мыши? Разве у вас в квартире есть мыши?

– Есть, покорно сказал Ремизов. Висят под потолком на ниточке.

Богомоллов, видимо, не знал о ремизовском зверинце и замолчал. На этом беседа на политические темы закончилась и в Россию Алексей Михайлович не поехал. А позже друзьям жаловался:

– Посадили меня и на все вопросы я ответил. А разговаривать сам не мог. Все расплывалось, в глазах рябило и скакали лягушки.

* * *

Мало кто понимал и любил ремизовские писания. В них раздражала стилистическая вычурность писателя, некоторая даже, не всегда понятная абстрактность, внутреннее издевательство, чрезмерное пристрастие к описанию всяких «африканских докторов», неправдоподобность снов, бесконечная чертовщина, которую позаимствовал Ремизов у Гоголя и которую возвел он в некий литературный и даже житейский стиль.

О том, что его мало кто читает, он знал, и говорил с горечью, что кончает жизнь «в кругу незамеченных»:

– Работаю, стиснув зубы. Говорят – пишу не понятно. А я не могу снижаться до понимания людей, которые

не дают себе труда подумать над тем, что читают... Да и кто читает? Вот, французы признают меня, переводят, а русские – нет.

В словах его была настоящая печаль, но не все справедливо. Ремизова не только читали, по Ремизову многие учились. Он оказал большое влияние на Замятина, Пильняка, Шишкова, Пришвина, Пастернака и на многих других современных писателей. И это понятно, – за всей косноязычностью Ремизова были у него особые, редчайшие слова, давно забытые людьми, высканные в древних московских рукописях, и слова эти у Ремизова оживали, загорались новым, удивительным блеском. Никто так не писал сказок и не умел рассказывать и толковать сны, как А. М., – недаром его книга сновидений названа «Мартын Задека». Был Ремизов быть может наиболее русским из всех русских писателей: в каждой его строке чувствуется особенная, «Взвихренная Русь», рождались у него образы необычайной красоты, яркие словесные молнии бороздили небо. Жаль, – за всеми его чудачествами и даже юродствами многие не доглядели большого писателя... И была у Ремизова огромная любовь и жалость к человеку. А его самого не всегда жалели.

* * *

Он умирал долго и мучительно. Это подробно описано в замечательной книге Н. Кодрянской, без которой не обойтись, если изучаешь Ремизова. Смерти А. М. не боялся.

– Я вижу переход – я верю – тут это и конец нашей жизни, – говорил он.

Пока были силы, Ремизов кое-как сам вел записи и дневник, но многое из записанного в последнее время разобрать нельзя: строчки сливались, он писал иногда одну фразу над другой. Потом стал диктовать «утенкам».

Записи эти открывают подлинного Ремизова. Если могло быть сомнение в его искренности, если ремизовские усмешки и литературные причуды заставляли людей недоверчиво относиться к его писаниям, чтение последних записей доказывает, что Ремизов именно такой: очень странный и сложный человек, смотревший в глубину вещей, и в жизни которого правда всегда переплеталась с фантастикой. Если предположить, что однажды он придумал для себя маску и играл роль, то с годами маска эта стала настоящим его лицом. Ибо трудно представить себе, чтобы перед лицом смерти, в период тячайших душевных испытаний и страданий, человек мог продолжать играть какую-то роль. Прочтите потрясающее описание смерти Серафимы Павловны в «Розовом Блеске» Ремизова, и это страшное смешение большого человеческого горя, любви, покорности судьбе и собственной растерянности с его бредовым путешествием по Парижу, наподобие колдуна из гоголевской «Страшной мести», с тоской в глазах, «запутанных паутиной»... В такие минуты роль не играют, не подыскивают оригинальные, образные выражения. Человек лежит в темной комнате и думает словами вечными:

– Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому отведен свой век и отпущена своя доля: одним на счастье, другим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость...

И тут же – беседа с Достоевским^ сон: художник Анненков, в руках зеленая папка, рисунки к «Ревизору»... Потом лицо Рылеева, и Михаил Струве в валенках, и «черненький зверек на кривых ногах»... Нет, этого не придумаешь... Это Ремизов.

В «Розовом Блеске» есть одно страшное место. В церкви, на отпевании, кто-то подошел к нему и сказал, как приговор, одно слово:

– Несчастный!

И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убийце».

* * *

Последние записи его, приведенные в книге Корянской, были глубокие и важные. Свет вокруг погас, он ничего не видел, не мог читать или писать и только – думал:

– ...Надо сойти с ума, чтобы поумнеть. Отойти от навязчивости определений – взглянуть на мир другими глазами.

– ...Много думал о слове: как-то не так понимают, когда заводят речь о словесном «хитросплетении». Забывают, что слово – живое существо, а не побрякушка и свинцовый типографский набор.

– ...«Надо терпеть» – с этого начинается день. Терпеть со стиснутыми зубами. Чувствую, надо как-то не так, надо согласиться на терпение. Принять свою долю. Возможно ли достичь такого состояния духа? спрашиваю себя. Но во имя чего? Надо терпеть, сознавая, как возмездие – «я заслужил», я должен «оттудить».

– ...Меня надо распружинить, так я крепко закручен. До чего я дотерпелся – и сам себя пугаю – самопуг – задену пепельницу и на звяк – отвечу вздрогом. Чувствую, что все кончено без надежды на возврат прошлого, такого жгучего.

А своими недугами я погружаюсь в темное рабство. И все-таки искра жизни – мои желания не угасли. Вот и сейчас, как бы я ожил, слушая чтение.

– ...1 января 1957. Новогодний сон. Я проснулся и протянул руку к часам, а часов нет. Кто-то прокрался ко мне и стянул часы. Меня поразило безвременье.

– ...Напор затей, а осуществить не могу – глаза! Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог! Записывается быстро – а никто ничего не поймет!

– ...Я не знаю своего последнего дня, но что это последние дни – я знаю. От слабости не смотрю на свет. Только чтение выводит меня в жизнь. Не поднимаясь писал, вспоминая наш прощальный вечер. Весь день так легко выговаривались слова – пишу в воздухе – и вдруг понял, не будет восстановлено – невозможно.

– Ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо...
На этой записи дневник оборвался.